



Моё Самарово

Василий Иванович Агафонов — художник. Воспоминания о своём крестьянском детстве и юности, прошедших в самой что ни на есть исконной России, он писал не в расчёте на публикацию, а для своих детей и внуков. Чтоб знали, где их корни. Чтоб остался в семье запечатлённый в слове, незабвенный облик русской деревни начала века, перелом и излом, которые она пережила, а вместе с нею и крестьянский род Агафоновых. Для детей же и внуков Василий Иванович проиллюстрировал свои воспоминания, стараясь линией выразить всё, что сохранила память.

с. 1

Сколько таких замечательных документов, писанных для себя, для близких, хранится сейчас в семьях! Думается, много, потому что, опомнившись от беспамятства, мы наконец почувствовали свою особую самоценность в качестве соединяющего звена поколений. Свою личную ответственность перед предками и потомками. Перед родной землёй.

Под новой рубрикой «Былое» мы будем и дальше публиковать истории семей, честные свидетельства и осмысление нашей сложной и грозной истории.

Корни

Мой дедушка Аввакум был сыном помещика Ступишина и его крепостной девушки. Появился на свет Обаша в селе Самарове.

Как-то, проезжая по селу, помещик спросил у мальчишек: «Который тут Обашка?» Ему показали. Барин подозвал Обашу и надел на него свою бобровую шапку, так и пришёл малыш домой к матери с барским подарком на голову.

С малых лет Аввакум умел постоять за себя. Однажды он поколотил дразнючку — сына попа, а поповы дети были неприкосновенными. Пришлось матери вести Обашу к отцу Никодиму просить прощения.

Рос Аввакум, набирал силы, и, пожалуй, не было равных ему на селе. Один раз, на спор, он принёс в зубах четырёхвёдерный ушат с водой от колодца к своему дому, продев полотенце в отверстия ушата и держа руки за спиной.

Аввакум был небольшого роста, но очень широк в плечах, как говорят, что поставь, что положи. Удивлялись, что даже в сильный мороз он редко надевал рукавицы и держал их за кушаком. Он мог своими горячими руками отогреть обледеневшую завёртку оторвавшейся оглобли. Зимой Аввакум делал сани на продажу, а тяжеленные дубовые стволы для полозьев украдкой от лесников таскал из леса на собственных плечах, чтобы не оставить санного следа. Целый поезд из 5—7 саней он вёз на базар в Переславль, а продав, с песнями возвращался домой.

Однажды в Александровском лесу на Аввакума напали два разбойника. Обаша выбрал момент, изловчился и ударом кулака убил одного, а другой в страхе убежал. Только перед смертью дед покаялся в душегубстве священнику...

Был с Аввакумом ещё такой случай. Шёл он с корзиной грибов по Дуброве и увидел, что на ветке около дороги висит дамская сумочка: проезжали тут господа, и барыня, отойдя по нужде в кусты, забыла её. Аввакум отнёс сумку владелице. Барыня была тронута честностью крестьянина и подарила Аввакуму флигель. Это было очень кстати, потому что у семьи Аввакума недавно сгорели дом и скот. Флигель перевезли в Самарово, он-то и стал нашим се-

мейным гнездом. В этом маленьком домике с тремя полукруглыми окнами «на перёд» родился мой отец, родились в нём и мы, девять его детей.

Самарово

В нашем селе Самарово было три улицы: Воргуша, Гора и Заречье. Воргуша занимала уютный зелёный бугор возле речки. Дома там как-то по-свойски жались один к другому, и сами жители дружили; зато бранчливое Заречье, где был наш дом, растянулось длиннющим хвостом в сторону заливного луга. Самое высокое место села, возле церкви, называлось Гора.

По всем признакам Самарово — древнее село. Располагалось оно на бывшей ямской дороге между Александровом и Переславлем-Залесским. От Переславля дорога шла к Ростову Великому, далее на север, к Ярославлю, а от Александрова — к Москве. Александров, как известно, был связан с жизнью Ивана Грозного, Переславль являлся вотчиной Александра Невского.

Седой стариной веет от названий соседних с Самаровом селений: Половецкое, Вечослово (заметьте, Вечо-слово), Берендеево, Годуново...

Возможно, много веков назад, в пору язычества, на Горе села Самарова было святилище идола, зажигались жертвенные костры, совершались обряды, а вместо церкви с колокольной стояло деревянное «било».

Традиции живучи. До самого последнего времени на Горе любили собираться люди. Здесь, у пожарного сарая, постоянно проводились сельские сходки. Раньше в праздники тут водили хороводы. С Воргуши и Заречья гармонь увлекала молодёжь на Гору и собирала вокруг себя кольцо зрителей. Плясали «Елецкого» или «Семёновну», краковяк или «Цыганочку».

В Самарово не было одинаковых домов. Каждый из них имел своё лицо, свои глаза, свою соломенную причёску; многие были убраны кружевами. Соединялись они между собой тыном или частоколом. И, тоже будто в хороводе, взявшись за руки, дома и домишки кружили вокруг сельского пруда, в котором плавно разгуливали ленивые караси.

Наше село со всех сторон обступали леса, и с церковной горки видно было, как гребни лесов уходили в туманную даль. Мне казалось тогда, что, удаляясь, они издают различные звуки: ближний лес, Дуброва, пел басом, следующий — тенором, дальний лес звучал монотонным перегулом пчелиного улья.

В лесах вокруг Самарова была чистота. Каждую весну всем миром собирали сучья, складывали в большие костры и сжигали. Малый огонь для согрева людей у нас звали ласково — теплиной.

В лесу росли дубы, клёны, липы. В дуплах старых деревьев водились дикие пчёлы и страшные шершни.

Орешник вырастал огромными раскидистыми кустами. Рвать орехи строго запрещалось до Успеньева дня. Если у кого-то обнаруживали ореховую скорлупу под окном до Успенья, то он навсегда терял доверие людей. А в Успенье, после церковной службы и завтрака, все жители села одновременно устремлялись в лес. Большинство ехало на телегах вскачь, а пешие бежали. Расстилали под кустами попоны и трясли лозы, обильно обвешанные лохматыми «грёзднями». И сыпались на подстилки смугло-золотые, с матовыми донышками вкуснейшие орехи! Их потом запирали в чулан и выдавали как лакомство только по праздникам.

Ребятишки, включая и малышей, едва научившихся ходить, целыми днями пропадали в Дуброве. В этом лесу мы знали каждый пень, каждый муравейник. Заходили и в Кошелёво; но тот лес серьёзный, грибной, где заблудиться можно, да к тому же в нём водились змеи. А вот дремучий Самсоновский лес — царство волков и медведей — был для нас запретным. Мы не раз слышали жуткие рассказы о том, как медведь задрал отбившуюся от стада корову или как оттуда примчалась лошадь с содранной шкурой.

В лес мы бежали всегда наперегонки. Зато домой шли тихо, едва передвигая ноги, оставив силы на лесных тропинках, на макушках вековых дубов, в коряжистых тёмных бочагах речки Серокши.

Речка была такой нашей, такой обжитой! Мы и не представляли себе, что есть на свете реки побольше. И если бы вдруг Серокша, будто в сказке, превратилась в большую реку, то стала бы для нас, детей, такой же неудобной, как взрослая обувь. Нет, нам нужна была именно наша маленькая Серокша. Перешёл по слеги или вброд и — пожалуйста: на бугре дикая клубника — ползай на коленках, ешь сколько хочешь. То тут, то там до самой травы

склонялись «сполитые» черёмухи. Они словно потчевали нас, протягивали прямо в рот свои спелые ягоды. Мы придирчиво пробовали с каждой — та костиста; эта горька.

А вот и ещё черёмуха. Весной она стояла будто разнаряженная невеста, была особенно белоснежной, с пышными кружевными каскадами цветов. И ягоды на ней оказывались самыми сладкими и сочными. Мы залезали на черёмуху, ломали ветки; а ей было всё нипочём — и на другой год она становилась ещё краше, ещё кудрявей.

Купаться на Серокше мы начинали рано, чуть ли не в снеговой воде. А уж когда наступала жара, то купались раз по двадцать в день. Едва миновав крайний дом села, скидывали рубахи, как-то ухитрились на бегу снять и штаны и совсем голые бежали под уклон, к речке. С разбегу бросались в воду и купались долго, до посинения, пока зубы не начинали выстукивать частую дробь. Отогревались потом на солнышке, утонув в высокой траве.

К вечеру, когда наше большое шумное стадо двигалось к Самарову на ночлег, слышались щелчки кнутов и пастушьи окрики, тогда и мы шли в село загонять скотину по дворам, что являлось первейшей обязанностью ребятишек. С восторгом разглядывали великолепные доспехи старшего пастуха — нашего кумира: кнут, берестяной рожок и воронёную дубинку, в утолщении которой был вырезан крепко сжатый кулак. Своим кнутом пастух делал оглушительные выстрелы, а длины его хватало настолько, что без труда можно было проучить любую баловницу в стаде. Хитроумное плетение кнута заканчивалось хлопущей из волос хвоста сивой (обязательно сивой!) кобылы. Длительным опытом было установлено, что именно её эластичные волосы издавали самый сильный хлопок.

Все мальчишки хотели стать пастухами! У каждого был кнут и, конечно, с хлопущей. За выдёргивание же волос из хвостов нам здорово попадало. Но всё равно украдкой мы постоянно охотились за хвостами стреноженных лошадей: на цыпочках, из-за углов амбаров подкрадывались к лошади и дёргали из хвоста прядку волос.

Скота у крестьян было много, и каждый старался угодить пастуху. Поэтому — после священника — он был самой уважаемой фигурой на селе. Питались пастухи «по очереди», переходя из дома в дом. Кормили их обычно по-праздничному, а то и водочки подносили.

Утром, чуть свет, над селом разносилась прозрачная мелодия пастушьего рожка. А в это время из мягких крон Дубровы, будто потягиваясь после короткого летнего сна, медленно поднималось солнце.

Весна

Весна в детстве казалась удивительно звонкой, тенькающей, голосистой, и душа переполнялась необъяснимой радостью. Мы пропускали ручьи и громко кричали выученное в школе стихотворение:

...Весна идёт, весна идёт!
Мы молодой весны гонцы,
Она нас выслала вперёд!..

На тающем снегу посреди села женщины расстилали отбеливать длинные холстины, сотканые за долгую зиму. Это было своеобразной выставкой. Бабы пересудам конца не было. Расхваливали работающих и перемывали косточки нерадивым.

Все выбирались на улицу из домашней духоты, слезали с печей дряхлые старики и, выйдя на свежий воздух, долго откашливались. По селу звенели пилы и стучали колуны. В это солнечное время пилили и кололи дрова — заготавливали на будущую зиму. Громко переключались бабы, кудахтали куры, каркали грачи и вороны, а громче всех кричали мы, дети.

Прилетали скворцы в прошлогодние скворечни, занятые воробьями, — и тоже шумно выясняли отношения.

Дом наш стоял окнами на юг. Только начинало пригревать солнце, как отец выставлял зимнюю раму в одном из окон и раскрывал его настежь. Лютые морозы миновали, и загата, эта толстая соломенная шуба вокруг избы, стала не нужной. Ребятишки теперь играли на её примятой соломе, а спрыгнув на снег, босыми ногами добежали до первой проталины, там кувыркались и резвились. Из раскрытых ворот двора высовывала морду Бурёнка, жмурилась, двигала челюстями, не решаясь ступить на талый снег.

На обочинах Большой дороги за селом начинали просыпаться старые берёзы. Своими разлапыми корневищами, как тёплыми ладонями, они вытаивали под собой лужицы, пили снеговую

воду. И побежит тогда сладкий сок под корой... Мужики вырубали в стволах берёз лунки, которые быстро наполнялись соком — и каждый мог пить через соломинку сколько захочет.

В поле, на проталинах, появлялись стекловидные побеги хвоща, их мы звали «пестышки». За ними ходили тайком, только с друзьями — ведь пестышки росли не везде. Набирали полные охапки и ели.

В серых тёмных оврагах росли дудки — «дядилки». Их тоже ели, но от дудок во рту творилось что-то непонятное — язык становился шершавым и терял ощущение всякого вкуса. У нас бытовала даже поговорка: «У меня нехорошо во рту, будто дядилок наелся». В оврагах же чуть позднее вырастали «праские» дудки (по-нашему значило «хорошие, настоящие»). Мощный зелёный кулак дудки расталкивал перегой, высывался наружу и расправлял свои фигурные листья. А потом пойдут можжавки, коровки, щавель и наконец ни с чем не сравнимый молочай. Но рос он почему-то больше на запретной чужой усадьбе наших соседей Ефимовых. Из высокой травы сладкий, сочный молочай выставлял стрелу или заманчивый жёлтый цветок и, пока мы не решимся на отчаянное нападение, лишал нас всякого покоя. Можно было подумать, что за нами соседи наблюдали так же пристально, как мы за молочаем. Стоило ступить на их территорию, тут же появлялся хозяин с дрыном.

Навозница

Домашних животных крестьяне берегли и холили. Корова и лошадь — кормилица с работягой — спали на мягких соломенных подстилках. А чистили стойла один раз в году — в навозницу, в конце мая. Под скотиной накапливался толстенный пласт жирного плодородного удобрения для полей. Унавоженная земля становилась сильной, лоснилась от здоровья и родила добрые хлеба. «Где скотина, там навоз, там и хлеба лишней воз», — говорили у нас.

В этот день растворяли ворота двора и звали соседей на помощь, по-нашему, «помочь». Мужики с силой вонзали в навоз железные вилы. Они вдвоём, а то и втроём с трудом отслаивали тяжёлую пластину навоза и по команде: «Раз, два — взяли!» — поднимали и шлёпали её на телегу — «навозный полук».

Вывозить навоз в поле доверяли обычно мальчишкам лет десяти. Они очень гордились этим, чувствовали себя настоящими мужчинами. Иной мог бы проехать и задворками, а он, глядишь, важно едет вдоль села на виду у всех. Малышня с завистью смотрела на счастливых.

На «помочах» хозяину полагалось кормить обедом своих помощников; и тут конца не было шуткам.

Как-то наша мама поставила на стол в глиняном блюде горячие и очень жирные щи. А от жирных щей, как известно, пар не идёт. Вот Серёга Савельев первый хлебнул и обжёгся, но виду не подал и говорит матери: «Дарья, щи-то у тебя совсем холодные, на шестке, что ли, их держала?» Сидящие за столом, думая, что щи и в самом деле холодные, хлебнули без всякой опаски и тоже обожглись. Потом все долго смеялись.

В дни навозницы воздух был густо насыщен особенным, терпким запахом. По улице скрипели гружёные телеги, им навстречу неслись вскачь порожные. Люди работали дружно и радостно. Самарово утопало в цветущих садах, возле ульев гудели пчёлы. За селом на лугах зеленели высокие сочные травы с медовой кашкой и душистым горошком.

Предстоял сенокос — тяжелейший, но по-праздничному весёлый труд на миру.

Сенокос

В Самарове отбивали, ладили косы. Стучали молоточки со всех сторон. Наутро, помолясь, начинали косить — так решил сельский сход.

Всё готово. Насажены и починены грабли, вилы, вилки и вилочки. В семье были длинные трёхпалые стогометатели, трёхрожковые железные вилы и у каждого человека ещё свои лёгкие деревянные вилочки — сено шевелить. Мальчишек отцы снаряжали маленькими косенками. Шаггал такой малец с косой на плече рядом с взрослыми, сиял от счастья...

С вечера родители наказывали нам, детям, развалить сено и через каждый час шевелить его. Не забывать, что сено сохнет на вилках. Накрутить из соломы пояски для вязки снопов. Высушить помытую вчера пшеницу да смотреть, чтобы куры не склевали. Следить за цыплятами. Прополоть и полить огурцы... Заданий было больше, чем пальцев на руках.

Расстилали мы две-три попоны, рассыпали на них пшеницу. Сторожить её от кур оставляли пятилетнюю Ольгушку, вооружив прутиком. И зря говорят, что куры — дуры. Стоило старшим отойти от попон, как они, куры, не видя в маленькой сестрёнке опасности, начинали окружать попоны с зерном. Пока Ольгушка отгоняла их с одной стороны, куры набегали с другой.

Сено «валяли» до завтрака. Каждый карапуз помогал растаскивать его по выкошенной усадьбе. Затем кто постарше медленно передвигались друг за другом по стлищу, шевелили вилками, растрясали слежавшееся сено.

На завтрак было «крошёное» молоко. Мы крошили хлеб в общее блюдо, заливали молоком и хлебали деревянными ложками. От углов стола тянуться к блюду далеко, с ложки молоко капало. И без конца слышались бабушкины окрики: «Не лейся, вон какую дорогу сделал!» Молоко было холодное, из погреба. А соседский мальчик Ванюшка Ефимов хвастался, что у них молоко тоже холодное, с лягушкой: для охлаждения молока Ефимовы опускали в каждую крынку по лягушке.

День в полном разгаре. Солнце палит. Не перед грозой ли? Петух смотрит одним глазом на парящего в небе ястреба и тревожно предостерегает кур. Всех разморило, мы спрятались в тень.

И вдруг переполох! Закудахтали, помчались куры, растопырив крылья. Клуша взлетела выше крыши за ястребом, схватившим цыплёнка. Высмотрел-таки, разбойник, себе жертву. Но это ему даром не прошло. На другой же день Афанасий Полетаев сбил ястреба одним выстрелом из своей шомполки.

Далеко, далеко над лесом за клубилась тучка и послышался отдалённый гром. Мы хватаем грабли, быстро сгребая в валки уже высохшее хрустящее сено и складываем в копны. Бабушка суетится, охает: «Скоре-тё, скорее-тё!» Откуда она взяла это «скоре-тё»? У нас так никто и не говорил. А куда уж скорее-то? Мы в поту сгребая, торопимся изо всех сил, мечем и мечем копны, сено колет, набилось под рубаху. Туча тоже торопится, чтобы испортить сено, намочить. Она подошла совсем близко и тяжёлой горой нависла над нами, громыхала, как пустая телега по бревенчатому мосту. И вдруг раздался страшный удар грома! Налетел ветер, взлохматил наши рыхлые копёнки, вот-вот повалит их. Мы, под дождём, хватаем что попало: грабли, вилки, поленья, какие-то жёрдочки — приставляем их к копнам.

...Всё кончено! Успели! Мы стоим на крыльце, мокрые, уставшие, но счастливые. Ведь успели же! Над нами, высоко в небе неуклюже колыхаются на ветру вороны, врасплох застигнутые грозой.

Жатва

Сенокос подходил к концу. Сарай до самой крыши набиты зелёным душистым сеном. Люди с надеждой смотрят на поспевающие нивы. Высокая рожь цвета сливочного масла волнуется, поблёскивает. Тяжёлые колосья благодарно кланяются крестьянам, а те пробуют зерно на зуб и решают: «Пора убирать!»

И начинается жатва! Рожь бережно, даже с почтением жали только серпами. «Маленький, горбатенький, всё поле обежал и домой прибежал» — такая есть загадка о серпе. Коса для ржи считалась грубым инструментом. «Матушка-рожь кормит всех сплошь, а пшеничка, та — по выбору». Пшеницы тогда сеяли мало.

Какой же выносливостью надо было обладать, чтобы срезать руками, низко склонившись, необозримое поле! Но «глаза страшатся, а руки делают». У жнецов к вечеру мучительно болели спины, и «правили» их так: встанут двое спиной к спине, сцепятся руками в локтях и начнут по очереди наклоняться, поднимая друг друга на себя. Раз шесть нагнутся да распрямятся — глядишь, и полегчает.

Ребятишки носили на пожню кувшины с квасом. Вместе со взрослыми хлебали мурцовку: крошили в блюдо ржаной хлеб да лук, заливали квасом, солили и с удовольствием ели. Нас учили жать рожь маленьким серпиком. С непривычки поранишься до крови, но считалось: если не порежешься серпом, то жать не научишься.

Сжата последняя полоска. Поехали, заскрипели высокие квадратные возы снопов к лохматым, нечёсаным овинам, покрытым соломой внаброс. Возле овинов выстраивался ряд головастых стогов с надетыми, будто шапки, снопами на верхушках. Стога огромными матрёшками стояли до поры — ждали молотбы.

И вот закурились, зачಾದили вечерами овины. Отец всегда брал меня в ригу сушить снопы. Уроdlивая, похожая на большую лягушку, печь без трубы была очень прожорливой. Её топили корявыми пнями, чурбаками, не поддававшимися колуну. Из огненной пасти выходила прорва дыма, который нехотя выползал на улицу через вытяжное окошечко. Нас душил кашель, текли слёзы, передвигаться приходилось на четвереньках, а сидеть на земляном полу, опустив голову между колен. Отец орудовал клюшкой в печи, а сам рассказывал о страстях господних, о муках грешников в аду, будто нарочно нагнетая страх и без того жуткой ямине риги. Его бородатый силуэт на фоне оранжевых клубов дыма дополнял в нашем воображении страшные картины. Я пугливо оглядывался в тёмные углы, мне казалось, что какая-то нечисть затаилась в темноте. К полуночи обугленные чушки пней всё ещё не прогорели. Мы заливали их водой и выбирались из риги в кромешной тьме.

Утром, «чем свет», все шли в овин. Дети бегом растаскивали и расстилали по чистейшему гумну ещё горячие снопы, а взрослые брали цепи и приступали к молотье.

Тяжёлая работа цепями требовала особой слаженности и со стороны выглядела даже красиво. Человек, впервые взявший в руки цеп, не сможет ударить по снопам в точно отведённые ему доли секунды. Ведь четверо били по одному и тому же месту. Слышались команды старшего: «По колоскам!» Или: «По пояскам!» Тут же град ударов последует в указанное место, и снопы затрепещут, задрожат. Стоит кому-то сбиться с ритма, и ему невольно ударят по цепу. «Не зевай!» — получает он выговор. Молотье в четыре цепа я сравнивал с быстро бегущим конём, а в три цепа — с хромоногой лошаdью. Но часто молотили и в шесть цепов и всё так же били в одну точку. В шесть цепов могли молотить не все, тут нужны были сноровка и чувство ритма. Это был какой-то ураган ударов, и ржаная вкусная пыль густым столбом поднималась вверх к перекладинам овина.

Медленно передвигаясь по настилу из снопов, работающие выстукивали цепами частую размеренную дробь. Вот кто-то из мужчин поднимет повыше цеп и, пропустив свою очередь, крутанёт над головой билом цепа и с большой силой ударит по снопу, подстраиваясь опять к общему ладу мелькающих цепов. Этот приём назывался «отвёртом». Точный сильный удар поощрялся одобрителными кивками работающих. После показанного примера начиналось как бы состязание в ловкости. Цепы с жужжанием рассекали воздух, удары следовали один за другим:

— Жах!

И снова:

— Жах! Жах!

Да и слово «жахнуть» (сильно ударить) произошло не иначе как во время молотьи и именно «на отвёртах».

Осень

с. 5 Хлопотливая осень кончалась. Воздух цедил холодом. Надсадно каркало воронье.

Убрали наконец картошку. Её ссыпали, ссыпали в отвороченную половицу и набили подполье до отказа. Мешкать некогда. Надо рубить капусту. Она уже отстояла в капустнике положенные трети заморозки, стала хрупкой, сладкой. Позвали соседей в помощь. Втащили в избу длинное корыто и, стоя в ряд, впятером, рубили в нём капусту тяпками. Под весёлый перестук пели песни, шутили. После тяжёлых работ в поле рубка капусты считалась отдыхом. А увидав в окно первый снег — «белых мух», искренне радовались, крестились: «Слава богу, успели всё убрать с поля!»

«Белы мухи полетели, пастухи домой катят!» Пастухов нанимали до белых мух, которых они ждали как манны небесной. Достаточно было пройти первому снежку, пастухи тут же пригоняли стадо в село и требовали расчёта.

Одно время пас скот в Самарове придурковатый Илюха. Он каждую осень покупал на все заработанные деньги пряников, конфет и угощал девок. Те, проказницы, наперебой соглашались выйти за него замуж.

Установилась настоящая зима. Дома обложили соломенными загатами. Из приставленных к крышам жердей у дворов закуты понаделали, тоже соломой закрыли; там хранили дрова и корм скоту, чтобы снегом не занесло. Люди попрятались в избах. Печи топят. Отсидиваются, отлёживаются.

Улеглось солнышко, а ребяташки не спят. Они мельтешатся, суетятся на горке. Катаются на санках, на лыжах, на деревянных колодках, прикрученных к валенкам, на «скамейках», обмазанных навозом и политых водой. Слышны смех, плач, свист. Дети резвятся, а женщины работают, таскают воду из колодца. Им надо поить скотину во дворе, заполнить все ушаты и чугуны в доме. И гремят, гремят вёдрами бабы весь вечер, их обмёрзшие длинные подошвы колоколами сделались.

Мороз крепчает, с треском «щеляет» углы в домах. Дети нагулялись, озябли. Вбегают в дом все разом, «в один хлопок», кто всхлипывает и дышит в холодные руки, кто смеётся. Быстро раздеваются и на печь — греться. Вот они пригрелись, угомонились и начинают просить у бабушки рассказать сказочку. Бабушка сперва отнекивается, говорит, что всё уже рассказала и больше не помнит. Дети не унимаются, знай упрашивают. Садится бабушка на донце гребня за прядево и наконец соглашается: «Ладно уж, слушайте! В некотором царстве, в некотором государстве...» И начинается наш неудержимый полёт в сказку, в неизведанные страшные подземелья Кощея Бессмертного с его золотом-серебром. Бабушка прядёт, взмахивает рукой. Её тень от коптилки шевелится на стене, дотягивается до нас и, кажется, хватается кого-то. Мы жмёмся друг к дружке. Страшно!

Устала бабушка, клюёт носом, спать хочет. Мы тоже засыпаем...

Масленица

В начале зимы в Самарове по утрам слышался истошный поросячий визг. Всё лето свињи беспечно гуляли да жирели, а теперь приходилось расплачиваться. Мальчишки сбегались со всех сторон. Зарезанную свињу выносили на середину улицы два сильных мужика, просунув жердь между её связанными ногами. Укладывали тушу на сырые кольца, лежащие на чурбаках, и опаливали снизу соломой. Когда туша становилась вкусно поджаренной, хозяин длинным ножиком отрезал маленькие кусочки хряща от ушей свињи и раздавал детям. Ради этого лакомства мы и собирались.

Однажды братья Ефимовы выволокли палить своего большущего борова. Ребяшня как обычно прибежала смотреть да кусочек ушка получить. Но Ефимовы, всем известные скряги, прогнали детей. Мальчишки издали дразнили их по-галочьи: «Чка-чка». Михаила Ефимова ещё в детстве прозвали «галкой», на что он до сих пор обижался. Вот братья кончили палить, взвалили тушу на плечи и потащили домой, но по пути о чём-то заспорили. Не донеся тушу, бросили на снег и, ругаясь, пошли к дому. До самого вечера лежал на сельской тропе опалённый боров, а братья всё бранились в своей избе. Люди обходили тушу и посмеивались.

В Самарове любили пошутить. О любом чуде, проказе сразу все узнавали. Баба бросала дела, что есть духу бежала к соседке и рассказывала свежую новость. А та, не успев проводить её за порог, сама со всех ног неслась к подружке. И вскоре смеялись в каждом доме. Но никто не мог соперничать в выдумках с Никитой Трофимовым, настоящим деревенским самородком. Парни ходили по селу и горланили под окнами сочинённые Никитой частушки. Частушки были меткие, злые, задевали многих, и не раз за певцами гонялись разъярённые мужики с кольями.

Всю долгую зиму женщины пряли да ткали. Покровителями этого ремесла считались святые Кузьма и Демьян. Девочка, садясь за прядево, приговаривала: «Кузьма, Демьян, научи меня и прясть, и ткать, и узоры брать!» Перед посевом льна весной была служба Кузьме и Демьяну. Колокола весело отзванивали: «Бум-бам, бум-лён! Бум-бам, бум-лён!» А Никита Трофимов приплясывал да подпевал в такт колоколам: «Будет бабам — будет лён! Будет бабам — будет лён!» «Ну и Никита, ну и молодец, — хвалили его женщины, — надо же, как хорошо придумал!»

Зимними вечерами проказам молодёжи не было конца. Не проходило дня, чтобы «художества» парней и девок не потешали жителей Самарова. В селе каждый человек на виду, и никакое тайное свидание не скроешь. Девки ночь спать не будут, а выстелют соломенную тропу между домами любовников. Ухитрялись даже наскрести сажу и золы, чтобы посыпать такую дорожку, хорошо видную на белом снегу. А влюблённые, чтобы их посторонние не узнали, вызывали друг друга из дома хриплым голосом — это так и называлось «хрыпеть в окошко».

Парни угоняли чужие сани и катались с гор, устраивая «кучу малу». Утром хозяин находил свои сани где-нибудь под горой, впрягался в оглобли и, чертыхаясь, тащил домой. Однажды Григорий Шаныгин вывел запрягать лошадь, а саней нет. Он туда, он сюда. Глядь, а сани на крыше!

В четверг, перед масленицей, когда в Переславле-Залесском был базарный день, вся округа «закупалась» на праздник. Через наше село вечером возвращалось в соседние деревни с базара множество подвод. А в Самарове был давний обычай — кидаться старыми лаптями в проезжих. С этой забавы начиналось у нас масленичное веселье. Пожилые люди тогда ещё носили лапти, и мы, мальчишки, ходили из дома в дом, собирали изношенные лапти и складывали на прогоне. Вечером к ребятам присоединялись взрослые парни, и мы ждали проезжающих. Поравнявшегося с нами мужика хором спрашивали: «Дядя, везёшь ли масленицу?» Тот знал этот обычай и должен был одарить нас гостинцами, но такое бывало редко. Мужик стегал лошадь, стараясь побыстрее уехать. Мы бежали следом, кидали в него лапти. А иной слезал с саней и гонялся за нами с кнутом. В это время кто-нибудь из парней хлестнёт лошадь, та понесётся во весь опор, мужик за нею, путаясь в длинном тулупе. А нам потеха!

В последний день мясоеда, в воскресенье, наступала масленица. Каждый год появлялись в селе медвежатники. Они всегда останавливались у Трифоновых, живших напротив нас. За шапку овса, который мы долго выпрашивали дома, владелец медведя заставлял зверя плясать. Или скажет ему: «А ну-ка, Миша, покажи, как пьяный мужик под забором валяется». Медведь залезет под лавку и начнёт кататься и рычать. «Теперь покажи, как невеста плачет». Медведю покажут платок, он закроет морду лапами и заревёт, раскачиваясь...

В разгар праздника на расписных возочках катались по селу молодожёны. Откормленные кони с заплетёнными хвостами и гривами, с бубенцами и кистями в сбруе лихо скакали вперегонки. Ездили под хмельком, красуясь ухарством перед сельчанами, которые, не отрываясь, смотрели в окна. Случалось, шаткие возочки опрокидывались, и молодые под общий смех барахтались в сугробе.

И тут, когда по селу проносилось множество красивых выездов, бездетный Афанасий Поле-таев запрягал свою рабочую лошадь в сани-розвальни и катал детей. А ребяташек в Самарове была тьма-тьмушая, и каждый хотел прокатиться. На простецких санях с кучей орущей детворы Афанасий, как клоун в цирке, появлялся среди нарядных возков, ещё больше оживляя весёлый праздник масленицы.

После катания мальчишки разбредались по селу собирать топливо на масленичный костёр. Кто даст пару поленьев, кто сломанное колесо или ось, а тот вынесет старую лагунку из-под дёгтя. Точно муравьи, дети тащили что попало на высокое, видное всему Самарову место за Воргушей и с нетерпением ждали темноты.

с. 6 Как только начинало смеркаться, поджигали огромный костёр. Он полыхал, а мы кричали:

Масленица, обманщица,
Обманула, подвела —
Погулять нам не дала!
Через семь недель
Будет светлый день —
Будем яйца красить,
За собой пасху носить!..

Стар и мал выходили на улицу и смотрели издалека на прощальный масленичный костёр. Взрослые говорили детям, что вон там горит и масло, и сало, и молоко, а завтра будем есть пустые щи, небелёную похлёбку, капусту да картошку... Насмотревшись, шли по домам на последний скоромный ужин. Выпивали молоко, а кринку выносили на улицу и надевали на высокий кол перед окном.

Целых семь недель, до самой пасхи, маячила перед глазами пустая опрокинутая кринка.

Великий пост. Отец

Известная поговорка «Понедельник — день тяжёлый», по-моему, могла появиться в народе после масленицы, в понедельник, в первый день Великого поста.

После мясной и молочной праздничной еды мы утром садились за стол перед огромным чугуном горячей нечищенной картошки. Из обгоревшего от времени, с зазубренными краями чугуна клубился пар. Сначала чугунок стоял посередине стола, а когда картошка убывала, его валили на бок, поворачивая зёвом то в одну, то в другую сторону.

Кончились масленичные забавы и веселье, наступало затишье. Звуки гармони и разухабистые частушки умолкали до пасхи. Женщины опять принимались за бесконечное прядение.

Вечерами девушки собирались у кого-нибудь из подруг на «супрядки», а где девушки, там и парни, балагурили, мешали прясть. Как-то хромоногий Ванька Филиппов, похвалясь крепостью зубов, обгрыз все головки на веретёнах...

Мужчины по утрам запрягали лошадей и ехали в лес за дровами, за брёвнами. Вечером отец возвращался, отдавал нам недоеденный в лесу каравай и говорил: «Вот вам бабушка лесная гостинец прислала!» Мы с аппетитом съедали замороженную краюху — верили, что это гостинец.

Великим постом многие уходили в соседние сёла на заработки. Вдоль села проходили мастеровые люди и выкрикивали: «Самовары лудить, вёдра починять!» Коновал с кожаной сумкой на ремне возглашал: «Лехчу жеребцов, баранов!» Шёл стекольщик с высоким ящиком на плече: «Стёкла вставля-а-ать!», «Топоры, ножи точить, серпы зубрить, пилы нарез-а-ать!» — пели другие мастера.

Когда же в село въезжал старьёвщик на своей куче тряпья и кричал: «Старьё берём, кости собираем!» — к нему отовсюду сбегались дети. И вот, смотришь, почти каждому что-то досталось из заветного сундучка старьёвщика. Один разглядывал книжку с картинками, девочки без ума от приколотых брошек. Этот свистулькой надоел, тот всех собак переполошил красным «тёщиным языком».

Ходили по сёлам владимирские иконописцы со связкой икон на спине. Вспоминали одного богомаза, вздумавшего поухаживать за чужой женой. Ревнивый муж погнался за ухажёром, тот к воротам, а они оказались на запоре. Полез богомаз под ворота да и зацепился своей связкой. Муж настиг его и отдубасил. Богомаз потом оправдывался, что мужик бы не догнал его, да боженята помешали.

Как-то к нам в дом пришли шерстобои — отец с сыном. Ввинтили они в стену крюк, повесили на него что-то вроде гамака из деревянных палочек и натянули струну. Зазубренной деревяшкой парень оттягивал струну, та звонко дрынкала, взбивая шерсть, будто мыльную пену. Из шерсти делали толстые чулки, которые варили в чугуне, потом мяли руками, катали ребристым вальком, стучали клюшкой и сушили в печи, растянув на колодках. А мы внимательно смотрели с полатей, как ловкие дяди делают нам новенькие валенки.

Мой отец зимой тоже уходил портняжить в другие сёла. Каждого из нас, детей, он приучал шить и часто брал с собой. Как-то с ним в селе Бибиреве была дочь Елизавета. В одном доме подходит к отцу хозяйский мальчишка и, шмыгая мокрым носом, спрашивает: «Дяюшка понтрой, а дяюшка понтрой, скажи, как у тебя понтриху-то зоут?» Сестра очень обиделась, что её называли понтрихой.

Отец считал себя заправским портным. Он прошёл курс обучения в Москве у известного, по его словам, «Мандельского закройщика» и работал при магазине. Во время революции владелец магазина, опасаясь за свою жизнь, доверился отцу и попросил помочь выбраться из города. Отец вывез хозяйское золото, запрятанное в рогожный мешок ради маскировки. А сам хозяин прибыл к назначенному месту в бочке ассенизатора. Отцу за труды он дал пять золотых.

Духовой утюг на углях с повёрнутой в сторону вытяжной трубкой у нас был всегда горячим. Разогревать утюг входило в мою обязанность. «Париж скроит, Петербург сошьёт, Москва выутюжит», — не уставал повторять отец. Плюнув на палец, отец чиркал им по донцу горячего утюга и, услышав шипение, одобрительно кивал мне. Звучно спрыснув ткань, он с силой ударял утюгом по гладильной колодке. Это был приём настоящего мастера.

Отец очень любил расхваливать портновское ремесло: «Зимой в мороз и вьюгу на улице страшно выйти, а портные работают в тепле. Их и накормят да ещё деньги заплатят. Что может быть лучше нашего дела?»

Или запоёт: «Воскресенье — день празённый, прячь работу под верстак. Эх, Дуняша, черноброва, ты отдай мой четвертак!» Двадцать пять копеек стоила бутылка водки. Но отец не пил вина. Он даже в праздники гостям забывал поставить на стол спиртное. От какого-то недуга в старости отцу посоветовали пить понемногу вина. Распробовав, он признался: «Жалко, что я раньше не знал, как это вкусно!»

Испытали мы на себе одну его жестокую шутку. Если кто-то сидел очень близко и мешал шить, он, сделав стежок, укалывал иглой соседа и спрашивал: «Я тебе не мешаю?»

Русская печь

На воскресенье и в праздники мастеровые люди приходили домой — попариться в печи, сходить в церковь и побыть со своими.

В Самарове бань не было. Я не думаю, чтобы о них и слухом не слыхивали, но жители стойко придерживались старых традиций и парились в русских печах. Печь делали огромную, чем-то похожую на крепость, а печурки для сушки портянок и рукавиц напоминали бойницы. В сводчатой полости печи размещались сидя два взрослых человека.

У нас был такой обычай: чем бы ни заболел человек, его тащили в печь парить и, закрыв чело заслонкой, хлестали там берёзовым веником до изнеможения. Больной не выдерживал, сам отпихивал заслонку, высовывался наружу, жадно хватая ртом воздух, произносил с хрипом: «Не могу больше!» И лез на печь, на её тёплую спину, под тулуп. И утром, смотришь, вчерашний больной слезал с печи и как ни в чём не бывало принимался за дела.

с. 7 Каждый четверг к вечеру вся наша семья парилась в печи. Пользуясь правами хозяина, ещё на сухую солому первым залезал в печь отец. Ему нравилось там петь церковные псалмы... Большая шумная семья постепенно сникала, детей размаривало у раскалённой печи, а отец всё пел и пел... Мать не раз напоминала ему, чтобы кончал свою службу, а то и другим мыться надо. Насладившись пением, он наконец выползал на шесток, улыбающийся, довольный.

После отца в печь влезала мать. Было слышно, как она возмущается: «Ой, а налил-то сколько!» И в который раз вспоминала бабушку Варвару, свою мать, умевшую вымыться так, что подстилка оставалась сухой.

Мы к этому времени уже засыпали где попало. Нас будили и, полусонных, по очереди вталкивали в печь. Мать быстро мыла каждого и, орущего от попавшей в глаза мыльной воды, со шлепком по задку высовывала наружу. Ей подавали следующего голыша. Так повторялось, пока не выскочит из печи последний. Правда, ребята постарше пытались проявить самостоятельность, но мама не всегда им доверяла, боясь, что они больше перепачкаются в саже, чем вымоются, и самоотверженно мыла всех ребятешек.

В Самарове и детей рожали тоже в печи. Помню, перед родами мать занавешивала вход в «подзад», так у нас назывался закуток перед русской печью. Нас загоняла на печь и, подстав соломы, залезала внутрь печи. Она не хотела звать повитуху, справлялась сама. Мы понимали, что происходит что-то необычное, сидели тихо, говорили шёпотом. Мать охала. Мы спрашивали: «Мама, что ты?» А она только повторяла: «Не ходите сюда».

Так ребёнок рождался в полумраке печного свода, и первый луч света он видел через чело печи, как птенец из отверстия проклюнутого яйца.

Суеверия

с. 8 Перед Пасхой чистили, мыли, скоблили всё подряд. Самовар обливали квасной гущей, чтобы он засиял золотом. Женщины тёрли хвощём пол, потолок и стены в избе. Потом наклеивали жёваным хлебом на стены божественные картинки.

С больших красочных листов смотрели на нас кроткие лучезарные ангелы и оскаленные, красноглазые черти с угловатыми крыльями. Мы верили, что на правом плече каждого из нас незримо сидит ангел, а на левом — чёрт, который только тем и занимается, что соблазняет человека на плохие поступки. Ангел шепчет в правое ухо: «Не ешь скоромного, это грешно!» А чёрт своё твердит: «Ты попробуй, знаешь, как это вкусно!» В нашем понятии черти жили рядом с нами, как мыши, пауки или тараканы, они тоже прятались в тёмных углах, под печкой, в подполье. Поэтому мы боялись темноты. Если тараканов иногда ошпаривали кипятком, а пауков давили (за одного паука скощалось сорок грехов, и за ними особенно старательно гонялись), то «нечистую силу» отпугивали крестом и молитвой. Надо было много раз в день молиться и просить Бога, чтобы он избавил нас от лукавого. Молились утром и вечером, перед едой и после неё. У каждого из нас на шее висел крестик или зашитая ладанка, а ладана, как известно, чёрт боится не меньше креста. Когда зевали, то обязательно крестили рот — боялись, что в него заскочит бес. Мама всегда крестила квашню на ночь, чтобы не залез в неё «нечистый».

В сильный мороз чертям холодно на улице, они щёлкают зубами, но в дом войти не могут, потому что в Крещение после Водосвятия отец начертил мелом кресты: над дверями, над окнами и даже над челом печи, чтобы чёрт в трубу не пролез.

В любой неудаче обвиняли чёрта: споткнётся человек — это чёрт ногу подставил. Не разгораются дрова в печи и валит дым в избу — его же проказы. Всякие мелкие безобразия творили бесенята, а если случалось большое горе, это было делом старых чертей, которые подчинялись главному чёрту — Вельзевулу.

Ребята постарше безжалостно пугали чертями маленьких. Если, забывшись, ребёнок опус­кал под стол босые ноги, ему на ухо шептали: «Ты что ноги-то опустил? Тебя за них чёрт схватит!» — да к тому же кто-нибудь из них, забравшись под стол, хватал малыша за ноги. С визгом, как ошпаренный, тот вскакивал и садился на лавку, подобрав ноги.

Вечером, под мерцание коптилки, начинались страшные рассказы. Как к Марье Шаныгиной уду­вленник-муж огненным змеем прилетал. Девки сами видели, как он искрами рассыпался над Марьиной крышей.

Рассказы были один страшнее другого. Всю ночь потом нам снились кошмары.

Каждый вечер отец зажигал лампадку перед божницей, вынимал из киота толстенную книгу с медной застёжкой и долго нараспев читал что-то непонятное, а нас заставлял молиться. Но мы больше проказничали: корчили рожицы, хихикали, за что нам тут же и попадало. После долгой молитвы ужинали. От чёрной гречневой, по-нашему «грешной», каши, почти все отказывались, зато дружно набрасывались на пшённую кашу и клюквенный кисель. Впрочем, сахара было мало и кисель варили редко.

Есть скоромную еду во время постов отец нам запрещал под страхом побоев. Шло время, и много раз повторяемые рассказы отца о муках грешников в аду сделали своё дело, я стал соблюдать посты уже сознательно. Стойко перенося все искушения, я чувствовал своё превосходство над моими грешными сёстрами и братом, которые оскорбились. За себя теперь я был спокоен — и в кро­мешный ад не попаду.

Вспоминаю случай в последние дни Великого поста. В избе стоял прямо-таки райский запах от сдобных куличей, сладких сыров и множества других яств. Старшая сестра Елизавета, сидя на пороге, сбивала масло, зажав коленями маслобойку. Брат Лёнька бесёнком вертелся около неё. Он макал палец в просачивающуюся сметану, облизывал его, а сам ехидно косился в мою сторону. Мне до слёз хотелось быть на его месте, но ведь это грешно! И тут Лёнька незаметно подкрался и намазал мне губы сметаной... Уж чего-чего, а такого подвоха я не ожидал. С ужасом почувствовав во рту вкус сметаны, я закатил настоящую истерику: плевался, визжал, готов был растерзать Лёньку, но он убежал на улицу. А сёстры покатывались со смеху: «Глянь-ко, наш святой Василий постился, постился, да на землю спустился!..»

Пасха

Праздник Пасхи начинался глухой ночью звоном Большого колокола. Первые три удара делали через длительные промежутки, затем звонили размеренно, в ритме человеческого шага.

Все просыпались. Жители Самарова и прихожане из Половецкого, Потанина и Дол­гого Поля, которые собирались в наше село с вечера, ещё засветло, выходили из домов. Люди медленно поднимались в гору к церкви по вьющимся белесым тропинкам. Перед входом многие переобувались. Праздничная обувь была до блеска начищена или смазана берёзовым (товарным) дёгтем. Мужчины снимали шапки, приглаживали волосы, лоснящиеся от деревянного «богового» масла, и, крестясь, поднимались по лестнице в храм.

В церкви мне нравилось рассматривать настенные росписи. Подолгу не мог оторваться от изображения, где Авраам пытается зарезать своего единственного сына...

Во время службы звонарь брал нас на колокольню. Туда вели сначала кирпичная винтовая, а потом крутые деревянные лестницы. С самого верха видны были поля, леса, соседние сёла, а наше Самарово смотрелось как на ладонке. Тяжёлый кованый язык Большого колокола звонарь сперва раскачивал сам, делал им несколько ударов, а потом уж и мы, перехватив на лету ременный скрипучий повод, продолжали звонить, с трудом качая из стороны в сторону этот многопудовый маятник. Звонарь одновременно ударял в другие шесть колоколов и колокольчиков. К его рукам тянулись многочисленные верёвки. Дёргаясь в них, точно муха в паутине, он подлаживался под удары Большого колокола да ещё будто приплясывал, нажимая ногой на деревянный рычаг набатного колокола, тоже участвовавшего своим подвыванием в этом оркестре.

В тихую утреннюю погоду у нас был слышен дальний звон гигантского колокола Даниловского монастыря в Переславле-Залесском — за двенадцать вёрст [13 км] от Самарова. Ходила

молва, что под Даниловским колоколом исцеляют глухих. Как-то я простудился и оглох. Отец, веря слухам, решил вылечить меня с помощью этого колокола. Приехали мы в Даниловский монастырь. Договорившись со звонарём храма, где шла служба, поднялись на колокольню. Меня поставили под огромным, как шатёр, колоколом, и звонарь в паре с отцом стали раскачивать тяжёлый язык. Как только он ударил по бронзовому боку колокола, раздался оглушительный грохот! Задрожали пол и стены, и я почувствовал невыносимую боль в ушах. Зажав их руками, я закричал что есть мочи. Отец скорее увёл меня вниз. До сих пор отзывается эхом в моих ушах тот звон Даниловского колокола.

А ночная пасхальная служба в Самаровской церкви шла своим чередом. Святили куличи и крашеные яйца. Совершали крестный ход вокруг храма, неся хоругви, иконы и зажжённые свечи в руках. Считалось, удачливым в жизни будет тот, у кого свеча не погаснет. Шествие сопровождалось пальбой из охотничьих ружей. Церковный хор пел:

Христос воскрес из мертвых,
Смертию смерть поправ
И сущим во гробе живот даровав!

Этих радостных слов ждали долгие семь недель тоскливого капустно-картофельного да свекольного Великого поста.

Служба заканчивалась рано утром, перед самым восходом солнца. Выйдя из церкви, все останавливались и неотрывно, до рези в глазах смотрели, как «играет» встающее над лесом солнце. А колокола весело и мелодично отзванивали «отходную».

Вернувшись домой, становились перед иконами с горящей лампадкой, крестились и снова пели: «Христос воскрес!..» Потом разговлялись: каждый съедал половинку крашеного яйца и кусочек кулича. Садились за стол, и начинался обильный неторопливый праздничный завтрак. Отец усаживался на своё место в красном углу под божницей. Кто-нибудь из старших брал в руки каравай и резал, приговаривая: «Горбушка — резаку, из-под горбушки — дураку!» Горбушка доставалась ему, а ломоть из-под горбушки подкладывали друг другу — никому не хотелось быть дураком.

Первым на столе появлялось большое глиняное блюдо мясных шей. К еде не приступали, пока отец не стукнет ложкой по блюду. Ложкой же по лбу он наказывал провинившегося за столом. Особенно следил, чтобы каждый доставал мясо только у своего края. Щи ели с кислым ржаным хлебом. Потом шла похлёбка из бараньих потрохов с пресным караваем, за ней — пшённая каша на молоке. После каши была румяная яичница в глубокой миске. Яичницей называлась запечённая мешанка из картофельного пюре с молоком и яйцами. Иногда для желающих предлагался ещё лапшинник — густая лапша с топлёным маслом, нарезанная кусками. Наши соседи Ефимовы, которые постоянно держали свиней, напоследок ели горячее пареное сало.

Наконец на стол ставили огромный поющий самовар. Взяв в рот выданный каждому к чаю кусочек сахара размером с ноготок, мы выбегали на улицу.

Девушки на Горе уже начинали водить хоровод. На их головах надеты венки из первых цветов. Они что-то поют, помахивая белыми платочками. На всю округу славилась хороводная песенница Соломонида Демидова, обладавшая чистым, звонким голосом. Соломиду позвали как-то петь на клиросе, но её манера пения настолько отличалась от церковной, что бабы шептаться стали. С тех пор Соломонида больше никогда не пела в церковном хоре.

Особняком собирались на Воргуше замужние женщины.

Старики усаживались на завалине, нюхали табак, рассуждали о всякой всячине, негромко и очень слаженно пели «Шумел, горел пожар московский», «Вечерний звон».

Молодые мужчины, парни и подростки затевали игру в лапту на лугу Заречья. Разувались, засучивали штаны, играли азартно, с остервенением.

После обеда девушки и парни гуляли по селу и пели частушки под трензель и звонкую гармонию.

А когда приходили парни из другой деревни, начиналось напряжённое ожидание драки. Кое-кто считал тогда драку почти такой же обязательной, как праздничный концерт в наши дни. Недоброй славой пользовался отчаянный забияка из Коблукова Ванька Ульянин — сын Ульяны Патевны Чурочкиной. Где появился Ванька, там происходила жестокая драка. А с войны Иван Афанасьевич Чурочкин вернулся Героем Советского Союза.

И вот две группы парней, чужие и наши, медленно прохаживаются взад-вперёд по улице. Мы, пацанва, разведчиками бегаем между ними. Наконец, вроде бы случайно, кто-нибудь из парней задевает противника плечом:

— Ты что толкаешься?

— А ты чего меня трогаешь?

Повод найден. Взрыв неизбежен. Дрались у нас всегда вечером, уже в темноте — кольями, гирьками, цепями. До ножей, однако, дело не доходило. Заканчивалась драка изгнанием чужаков за околицу. Парни собирались в кружок подсчитывать ушибы, хвалиться своими «подвидами» в только что прошедшем сражении.

После этого дикого представления все как-то размягчались, начинали зевать, многолюдная шумная Гора быстро пустела. Праздник кончался.

Коллективизация

В третьем классе церковно-приходской школы мой старший братишка Лёнька заучивал наизусть стишки:

...Дураков-то нет,
Их не класть в лукошко.
В 29-м году посмотри в окошко.
К церкви заросли уже тропинки
И не видно их...

И действительно, в 1929 году началась страшная ломка и разрушение устоявшегося веками крестьянского быта — коллективизация и борьба с религией.

На колокольне активисты пилили ножовками и разбивали кувалдой Большой колокол. Колокола поменьше сбросили на землю сравнительно легко, а с Большим пришлось повозиться. Церковные книги и утварь сдали в утиль. Священника на Соловки выслали. Парни ходили по селу с гармошкой и пели:

Бога нет, царя не надо,
И попов не признаем.
Провались, земля и небо,
Мы на кочке проживём!

А припевкой была омерзительная похабщина. Ругаться матом стали даже дети. А прежде, как говорили старики, и «зелена муха» считалось грубым выражением.

Напуганные и подавленные надругательством над их верой люди роптали да руками разводили, а верующими в Самарове были почти все.

Маленький старинный городок Переславль-Залесский славился множеством церквей и пятью монастырями. У нас с гордостью говорили, что если в Москве первопрестольной сорок сороков, то в Переславле — сорок церквей. К 1935 году из них уцелела едва ли половина. Мы с отцом часто бывали в Переславле. Проезжая мимо руин храмов, разрушенных взрывами, отец каждый раз плакал и истово крестился.

В сельском совете шли бесконечные собрания, и возле него толпился встревоженный народ.

В нашем доме творилось тоже что-то невообразимое — повернуться было негде от множества верующих. К отцу, хорошо знавшему священное писание, отовсюду шли недоумевающие, растерянные люди за утешением и советом. Ночи напролёт, стоя на коленях, в слезах, они до исступления молились перед иконами, держа в руках, зажжённые свечи. Чтецы сменяли один другого: то загудит мужской бас, то с надрывом загнусавит бледная монашка: «О сладчайший Иисусе, не остави мя! О сладчайший Иисусе, помилуй мя!»

Религиозные люди считали, что наступило время Антихриста и что скоро на небе появится огненный крест, придёт Страшный суд Господень и настанет конец света... В одном из библейских пророчеств сказано об Антихристе: «Имя его — число зверино 666. Мудрые да вразумеют». Кто-то по секрету разъяснил отцу, что число 666 можно составить из спичек и из того же количества спичек получается слово «Сталин»...

Нас с братом вечерами посылали на улицу проверить, не подслушивает ли кто под окнами. Мы выходили на караул, а заодно смотрели на звёздное небо, где должен появиться огненный крест.

...Первыми колхозниками в Самарове стали Иван Павлов и Мавра Ивлева.

У Павловых было столько мальчишек, что Иван со своей Аксиньей сами со счёта сбились. Среди них бегали два Ваньки — Ванька большой и Ванька маленький. Мой ровесник Сашка Павлов приходил в школу в опорках из отцовских сапог, ставил их у парты и сидел босиком. Учитель часто спотыкался о них и велел Сашке убирать под парту его «скребни».

Мавра Ивлева, вдова с двумя заморёнными сынишками, жила на отшибе села в ветхой избушке, напоминающей скворечник. Заливаясь слезами, Мавра жаловалась на свою горькую долю каждому встречному. Она говорила, что у неё прохудились слёзные мешочки, и трудно было понять, когда она плакала по-настоящему. Её сын Ваня тоже жаловался, что у него живот вспух от овсянки. Мавра толкла в ступе овёс, веяла на ветру, но колючая шелуха всё равно попадала в пищу. Как сыну беднячки колхоз купил Ване пальто и ботинки. Перед всем классом его торжественно одевали.

Непосильными налогами и угрозой раскулачивания уполномоченные провели почти сплошную коллективизацию крестьянских хозяйств в Самарове. Весь скот и даже кур согнали в обширные дворы зажиточных крестьян, к этому времени уже сосланных в Сибирь. Рёв стоял невообразимый. Неужоженные животные просились к своим ласковым хозяйшкам да ребятишкам, которые слушали их жалобы и тоже ревмя ревели. Коров всё же вернули по домам после сталинской статьи о головокружении,

В раскулачивании и высылке крестьян особенно усердствовал Мишка Хорев — отъявленный лодырь и завистливый шепелявый болтун. Когда ребят упрекали в лени или неряшливости, то сравнивали с Хоревыми, смуглыми, как цыгане, от грязи. Поле и огород у них зарастали бурьяном. Пахать Мишка выезжал поздно, хорошенько выспавшись, когда мужики уже возвращались с пашни. Печь топили Хоревы частоколами да заборами чужих огородов, хотя лес был на задворках. Беднота получила большие права, и Мишка Хорев, причисленный к беднякам, теперь надменно, по-хозяйски расхаживал по селу с «голеньцем» под мышкой (голеньцем у нас называли портфель).

Пришли Хорев с уполномоченным к Кузьме Макарову описывать имущество за долги, а тот их так «попотчевал запором», что они еле ноги унесли. Кузьма воевал ещё в Первую мировую, был контужен. Вернулся домой из австрийского плена, где подсмотрел немало полезного для хозяйства. Он был хорошим плотником и построил себе ветряную мельницу чуть не на крыше двора. Такие мельницы у нас обычно делали позади усадьбы, и забавно выглядел дом Макаровых с большущим пропеллером. Штаны и рубаху Кузьма сшил из белого холста, сплёл широкополую соломенную шляпу, обулся в деревянные «калишки» — сабо. Так же одевал и своих мальчишек, Сашку с Колькой. А когда Макаров проехал по селу на коровах, запряжённых в огромную телегу, то все легли со смеху. На коровьи шеи он приспособил никем у нас не виданное ярмо. За все эти нововведения прослыл он в Самарове чудачком. Зная крутой, независимый нрав Кузьмы, местные власти больше его не трогали.

Из закрытых монастырей Переславля-Залесского монахи пошли искать пристанища в близлежащих деревнях.

В крошечном домике рядом с нами поселился монах Иоаникий. Судьба зло подшутила над ним — Иоаникий был двугорбый. Борода его лежала на переднем горбе, а жидкие нестриженные волосы — на заднем. Длинные, до земли, руки и длинные ноги были приделаны к шарообразному туловищу. Каждый вечер Иоаникий, открыв дверь, будто вползал к нам таким четырёхногим паучком, в своём чёрном подряснике и возглашал басом: «Воистину, Иисус Христос, сын Божий наш, помилуй нас!» Мы ему хором отвечали: «Аминь!» Мы любили его за доброту, заплетали ему косу, садились верхом на горб. Помню его загадки: «Два-ста бода-ста, четыре-ста хода-ста, один бастыль и два ухтолика (корова)» или: «Кости грядущи, во гроб не кладущи. Выбросят на улицу — собаки не едят (черепки горшка)».

Как-то утром нам показалось странным, что у Иоаникия из трубы не идёт дым. Побежали к нему, а он стоит на коленях возле лавки и рыдает. Из сбившегося рассказа поняли, что ночью Мишка Хорев отобрал у монаха все сбережения, оставив его нищим. Но побираться Иоаникию не пришлось: тут же на наших глазах он повалился на пол и умер.

Вспоминаю Шуру Мареева — моего товарища из первого класса, голубоглазого мальчика с белыми ресничками. Их семью раскулачили и зимой увезли в ссылку. Теперь-то мы знаем, на какие муки они ехали. Жив ли Шура? Ведь старики и дети у спецпереселенцев умирали первыми, ещё в дороге. Часто думаю, за что покарала эту работающую, дружную семью? Никто из женщин больше Марфы Мареевой не перетаскал воды из колодца для многочисленной скотины. Всё село спит, а Марфа уж гремит ведрами. Три брата Мареевы да Яков, их отец, ещё

крепкий старик, были отличнейшие плотники, построили друг другу хорошие дома и молотилки. Дед Яков имел маслобойню. Там вертелись деревянные колёса, стучали песты, бухало тяжёлое бревно пресса. Мальчишки ходили в маслобойню «макать» хлеб. Дедушка ставил перед нами долблённую плошку с льняным маслом, мы макали хлеб и ели. Было очень вкусно! Дома-то у нас масло экономили и мазали только для запаха.

Маслобойню, отобранную у Мареевых, сломали, и молотилки в чужих руках тоже быстро пришли в негодность.

С нами учился Ёшка Шеханов. Отца у него раскулачили и сослали, большой красивый дом под голубой железной крышей заколотили досками. Ёшка с дедом остались жить в тепляке двора. В школе Ёшка, тоже будто в ссылке, сидел на задней парте один, нахохлившись. Как раз над ним висел лозунг: «Спасибо великому Сталину за наше счастливое детство!» Осенью школьников часто посылали копать картошку. Все трудились, а Ёшка не хотел работать «на коммунистов», как он говорил. За помощь колхозу нам давали по десятку яблок. Мы наперебой угощали Ёшку, но он гордо отказывался.

После смерти дедушки мальчику пришлось идти в подпаски. Бегая за упрямыми телятами вокруг стада, он покрикивал хриплым, простуженным голосом. Чирявая шея его была укутана тряпичной, и голову он поворачивал вместе с туловищем. Надерзил, видно, Ёшка старшему пастуху, и тот прогнал его. Пришлось идти побираться, да не смог выдержать он унижительной жизни на подаяние и застрелился из поджигалки посреди села у колодца. Похоронили Ёшку не на кладбище, а в Буйном овраге как самоубийцу.

По деревням ходило много обездоленных, бесприютных людей, живших милостыней. Запирать дверь от нищих считалось большим грехом. Хорошо помню старика Устина Бибиревского. Мы звали его «Устин — рукава спустил». С клубами морозного пара он вваливался в дом, тряс руками и, всхлипывая, повторял: «Руки озябли, руки озябли...» Он надсадно дышал открытым ртом с посиневшими губами, по-рыбьи выпучив слезящиеся глаза. До коллективизации Устин пас овец в Самарове.

А Мишка Хорев продолжал самоуправствовать. Женщины, увидев его из окна, шептались и на пальцах считали, какие ещё новые вещи появились в доме Хоревых: одеяла да подушки, посадки да поддёвки, граммофон и «фиксгармония».

И вот отец, не выдержав «мерзости запустения», как он говорил, и осквернения святой веры, за которую он положил бы голову на плаху, решил продать дом и переселиться на хутор — в «тихую обитель». Однажды вечером он объявил, что с хутором всё улажено и чтобы мы готовились к переезду. Бесправная наша мама запричитала в слезах, а мы запрыгали от радости; нам было всё равно куда, лишь бы ехать. На другой день уложили в телегу кое-какой скарб. Сверху расселись дети, окружив маму, державшую грудного ребёнка на руках. Отец перекрестился, шугнул лошадь кнутом, мы тронулись с места. И родной дом стал уменьшаться, уменьшаться и наконец совсем пропал из виду.

Нас ждали большая нужда и лишения, о чём я дальше расскажу. А позади телеги, струной натянув верёвку, упиралась и никак не хотела уходить из Самарова наша Бурёнка.

Хутор

Пасмурным утром мы выехали из Самарова. Жаворонки заливались в небе, будто провожали нас. Миновали деревню Коблуково, утопавшую в цветущих садах, и очутились в сумрачном лесу. Тонкие деревца склонились дугой над нами. Пахло прелью, слышались пересвисты птиц. Ошестинившиеся высокие ёлки тревожно шумели на ветру, дрожали осинки.

Вот и хутор, где нам предстояло жить. Дом был окружён лесом. Голенастые берёзы толпились под самыми окнами. На их вершинах усаживались кукушки и подолгу куковали, отсчитывали нам счастливую жизнь в этом «раю». Мы наивно верили кукушкам, а отец по-детски радовался всему. Он воображал, что надёжно отгородился от чуждого ему мира. Но как же он ошибался! На наше убогое единоличное хуторское хозяйство было наложено «твёрдое задание» — повышенный налог.

На хуторе мы поначалу отдыхали после самаровских тревог, но через некоторое время стали испытывать тоску по людям и при любой возможности ходили в Самарово к своим прежним товарищам.

с. 11

с. 12

Дела наши на хуторе шли из рук вон плохо. «Дом вести — не бородой трясти», — говорит народная мудрость. А отец больше тряс своей рыжей бородой, чем хозяйствовал, много молился, пускался в бесконечные рассуждения, сетовал на власть.

Ещё мальчиком отец надорвался, подняв что-то тяжёлое, и его, как негодного к сельскому труду, где нужна силёнка, отдали в ученики к портному. Поэтому навыков к земледелию он не получил. А теперь ему пришлось взяться за плуг.

Урожаи были низкие, и после уплаты налога нам на еду оставалось лишь немного второсортного зерна. Хватало его только до первых заморозков. Потом надвигалась голодная зима.

Наши лошади с коровой ютились в наспех сделанном отцом закуте и могли оказаться лёгкой добычей зверей. Поздней осенью, помню, совсем близко вдруг завывали волки. Ружья у нас не было, и брат Лёнька сообразил — громко хлопнул дверью. Волки испугались и убежали.

Да что там волки, нас больше беспокоило другое. Дело в том, что рядом с домом в хибарке жил сын прежнего владельца хутора — закоренелый уркаган. В его халупе постоянно резались в карты воры. Часто они целыми сутками, без сна и отдыха играли на лужке под нашими окнами. Проигрывались до белья, всё спускали с себя, оставались с одной матерщиной. Проигравшего жестоко избивали. По ночам сосед выбирался из лесной глухомани и тащил что придётся в окрестных деревнях. Коблуковские мужики хотели устроить самосуд над воругой, но им отсоветовали связываться: дескать, у него, кроме нагана в кармане, где-нибудь в кустах ещё и пушка спрятана.

Так вместо «святой обители» отец оказался в воровской «малине»... Но своим убеждениям был верен. Каждое воскресенье рано утром он поднимал нас с постели и вёл молиться в скоблевскую церковь. Вдоль берега реки шли мы гуськом по узкой тропе. Отец по-петушину вышагивал впереди, в яловых сапогах, с нависающими на голенища штанами. Как было принято, в церковь уходили, не завтракая, и, отстояв утомительную службу, возвращались домой только в третьем часу дня.

Целых пять лет длилась наша героическая хуторская эпопея, на втором году её случилось несчастье. Сосед увёл у нас корову, и мы остались без молока. Даже и без хлеба.

В то время хлеб, крупа, сахар, масло, мануфактура выдавались по карточкам и только тем, кто работал на производстве. Нам карточек не полагалось.

Для крестьян в районе был единственный хлебный магазин — в Переславле-Залесском. Что там творилось, трудно даже вообразить. К прилавку пробивались силой. За хлебом нас с братом отправляли в город чуть свет, но чаще мы возвращались пустыми. Никогда не забуду, как однажды от радости бегом бежали домой все восемнадцать вёрст [19 км] с шестью килограммами хлеба. В тот раз мне повезло необычайно — пристроиться к группе мужчин, пробиться с ними внутрь магазина и трижды получить полагающиеся в одни руки два килограмма хлеба.

За съестным ездили в разные места. Лёнька как-то вёз из Ростова узелок с викой, купленной на базаре. Ехал он на тормозной площадке товарного вагона. В пути влез к нему пьяный железнодорожник и, пригрозив милицией, пытался спихнуть с поезда на ходу. Кончилось тем, что пьяный, задремав на подножке, сам свалился под откос.

Бродили мы с братом по весеннему лесу. Как голодные зверьки, шарили под ореховыми кустами, находили прошлогодние орехи, уже тёмные, отпотевшие. Разожгли теплоту. Лёнька, помешав головешки ореховой палкой, понюхал её, расплылся в улыбке и спрашивает: «Чем пахнет?» Моё обострённое чутьё уловило запах чего-то аппетитного, жаренного. Так и шли мы по лесу, передавая палку друг другу — то он понюхает, то я.

Слышим, кто-то разговаривает; а мы давно уж не встречали здесь людей. Подкрадываемся, из-за кустов смотрим: на траве расположились трое мужчин, а перед ними разложено столько всякой еды... Да какой! Колбаса, яйца, сыр, консервы и целая буханка чёрного хлеба! Они заметили нас, подозвали и по нашим глазам поняли, что мы голодные. Расспрашивая, они качали головами, удивляясь нашему бедственному положению, и дали с собой по большому ломтю хлеба.

с. 13

Ещё помню: сушили мы сено на обочине железной дороги и несколько дней питались только щавелем, «дудками» да редкими ягодами земляники. И вдруг из окна проходившего мимо поезда выбросили свёрток с кусками заплесневелого хлеба. Мы восприняли это как Божий дар! А когда бывали в Берендееве, нарочно останавливались около пекарни, чтобы подышать дразнящим запахом свежего хлеба.

Нужда заставила отца наняться сторожить склад на железной дороге. Ему удавалось иногда доставать нам отруби: они-то и стали нашей основной пищей.

Пока отец был на дежурстве, мы с мамой работали в хозяйстве. Старший брат уже мог пахать и косить, а мы бороновали поле, сушили сено, собирали грибы для похлёбки.

Летом мать сильно заболела. Чем она болела, никто не знал. Врач от нас был так же далеко, как Господь Бог. Она лежала на печи, с трудом приподнимала голову и часто просила пить. Мы все молились за маму. И наша молитва была услышана — матери стало легче, она очнулась и говорит: «Ребятишки, уж так хочется хлеба!» А дома были одни отрубяные лепёшки. Где взять хлеба? Я решил сбегать в Коблуково и занять хлеб у бабушки Кокориной. За доброту и приветливость эту женщину все называли Добрянной, и настоящее имя её мало кто знал. На курьерской скорости помчался я к Кокориным, но они были в поле. Стою в растерянности, думаю, к кому ещё пойти. И вдруг вижу на столе большую краюху хлеба! Робко приблизился и почувствовал ни с чем не сравнимый хлебный аромат. Не в силах совладать с собой, я сунул хлеб за пазуху и пустился бежать. Дома без утайки всё рассказал маме. Она со слезами ела украденный хлеб и говорила: «Господи, до чего же мы дошли!» И потом мама отнесла Добряне с большим трудом добытый хлеб.

Брат

Хорошо, что в детские годы рядом со мной был старший брат. Разница в возрасте не мешала нам с Лёнкой дружить и с одинаковым увлечением придумывать всевозможные затеи. Нам очень хотелось найти клад.

Недалеко от хутора чернели остатки сгоревшей богатой усадьбы и лежал огромный синий камень. Мы с Лёнкой часто подходили к камню и фантазировали: неспроста лежит здесь эта глыбина, наверняка под ней клад закопан. Мы так мечтали о кладе, что синий камень приснился мне, весь огнём объятый. Утром я рассказал сон сёстрам, а Елизавета и говорит: «А что, может быть, и вправду там клад есть, а может быть, это и не сон вовсе, а видение было ему как праведному отроку?» Тут кто-то ещё поддержал Лизу, кажется, Нюра, и пошло-поехало: «Ах, ох, клад в руки даётся, не зевайте, ребятишки!» И мы с Лёнкой окончательно уверовали в существование клада. Теперь мы с ним чувствовали себя уже богачами, представляли себе, как в переславском торгсине, куда мы иногда заходили поглотать слюнки, набиваем полные карманы конфетами, держим в охалке колбасу, ситный хлеб! Воображение так разжигало наш аппетит, что ни о чём другом думать мы больше не могли. Нам оставалось только пойти и взять клад. Мы слышали, что клады откапывают глухой ночью и что при этом нельзя оборачиваться — а то чёрт, приставленный сторожить клад, убьёт.

И вот мы решились. Когда все уснули, взяли лопаты и ощупью, раздвигая кусты, пошли к синему камню. Перекрестились и стали копать. Земля оказалась очень твёрдой. Мы лихорадочно копали, не поднимая головы. Пот лил градом — а мы рыли и рыли. В лесу раздавались тревожные крики сов. Было жутко. Мы углубились уже по пояс, но клада не было. Вспомнились слова матери: «Ребятишки, не мучайте себя, там нет ничего». Яма становилась всё глубже, а силы с каждой минутой убывали. Вконец ослабевшие, мы поняли, что копаем напрасно. Пропала наша мечта — а как хорошо было с ней жить на свете... Вылезли из ямы и, чуть не плача, поплелись домой, волоча за собой лопаты.

Хотя мы с Лёнкой потерпели неудачу, на этом не кончилась наша золотая лихорадка.

В лесу на высоченной сосне мы знали гнездо чёрного ворона. Рассказывали, что в их гнёздах тоже находят золото. Мы решили добраться до него, хотя это оказалось не так просто. Вороны выбрали дерево без сучков и гнездо укрыли в хвое на самой верхушке. Лёнка умел лазать на высокие деревья. Он привязал проволоку к своему ботинку, а другой конец обернул вокруг сосны и снова прикрутил к ботинку. С помощью этой петли и с ножом в зубах он быстро забрался вверх. Вороны увидели грабителя и стали пикировать на него. Лёнка дрогнул и, освободившись от петли, отступил вниз по корявому стволу, да так быстро, что весь ободранный, шлёпнулся на землю.

Недалеко от воронова гнезда на песчаном обрыве было множество барсучьих нор. Мы задумали поймать барсука. Раздобыли лисий капкан, поставили его с вечера у самой свежей норы, замаскировали песком и, прикрепив проволокой к дереву, ушли домой. Мы не могли дожидаться утра, спали и не спали. Казалось, что именно в этот момент «схлопнул» капкан, и в него попался барсук. А как выглядит барсук, мы смутно себе представляли. Говорили, что он щетинистый и немного похож на поросёнка.

Рано утром мы вышли на охоту. Лёнька привязал к поясу длинный австрийский штык в ножнах, неизвестно откуда попавший в наш дом. Углубляемся в заросли. Неба почти не видно из-за зелени высоких деревьев. Где-то перебраиваются лесные голуби; знакомая косноязычная кукушка опять никак не может выговорить своё «ку-ку». Она произносила то «кук-ку-ку», то «ку-ку-кук».

Подходим к обрыву, карабкаемся по нему. В сильном волнении приближаемся к норе и видим: на свеженасыпанном песке поверх капкана отпечатан барсучий след — но машинка не сработала. И хорошо, что не сработала. Знающий человек отсоветовал нам ловить барсуков без ружья. Надеюсь на свой штык, мы могли жестоко пострадать от зверя.

В конце марта туман слизывал остатки серого снега, обнажая спрессованную рыжую траву с зимними ходами мышей. Наша река Щучка, нагулявшись по заливным лугам, возвращалась в своё русло. Мы облюбовали места поуже, вбивали в дно колья, делали хвойные заплоты и расставляли рыболовные снасти — хобутни. Вода шумно вливалась в разинутое «хайло» хобутня, а вместе с ней заходила рыба, набивалась в узкий длинный хвост снасти.

Всю весну мы с братом были заняты рыбалкой. Вставали рано — с соловьями, когда у самого крыльца на цветущей черёмухе уже пускал свои трели наш любимец. По мокрой траве шли мы вдоль берега, сбивая росу босыми ногами, отчего сзади оставались ярко-зелёные тропинки. Помню, подойдёшь к заплоте, вынешь хобутень из воды — а в нём вдруг забьётся, затрепещет рыба! Вытряхивали колючих окуней, красноглазую плотву, попадались большие щуки, налимы.

Дома нас все хвалили, называли молодцами, а отец выбирал самого крупного налима и говорил, что отнесёт Илюхе. Илюха Ивлев был председателем сельсовета. Отец пытался задобрить его и часто носил рыбу, водку. Илюха всё это съедал и выпивал — а налоги на нас продолжали увеличиваться.

Школа

Отец не раз говорил, что сделает из меня хорошего портного. И вот он определил меня учеником в берендеевскую швейную артель. Мастерская находилась рядом со школой, и ребята на переменах с криками бегали под нашими окнами. Я сидел у окна, строчил на машине, с завистью глядя на счастливых ровесников. Во мне поднималась жгучая обида на отца, и я твёрдо решил осенью снова пойти в школу.

Уезжая из Самарова, отец не подумал, что от хутора до ближайшей школы шесть километров по бездорожью. Мы с сестрёнкой Валентиной, несмотря ни на что, очень хотели учиться. Лёнька вытесал нам лыжи из берёзок с загнутыми комельками и опалил на костре. Они верно служили всю зиму. Пожурив меня за самовольный уход из швейной артели, отец тоже пытался помочь нам собраться в школу. Он где-то стащил со стены кумачовый лозунг и сшил из него мне рубаху, купил по дешёвке бракованные валенки. Но вот беда: увидав меня в них, мальчишки подняли такой хохот, что от стыда я готов был сквозь землю провалиться. Это были, действительно, очень смешные, прямо-таки клоунские валенки; длинные крючковатые носы и широченные голенища, похожие на граммофонные раструбы. Потом мы с сестрой нашли выход и стали меняться обувью. Я шёл в школу утром в её нормальных валенках, а она в моих уродливых приходила ко второй смене, пряталась за дверью и ждала меня. После занятий мы быстро переобувались, и я бежал домой. Было ещё одно: я стеснялся в школе при всех есть свою отрубную лепёшку и съедал её тайком в уголке.

с. 14

После вынужденного четырёхлетнего перерыва я с большим рвением набросился на учёбу. Учителя Каргунова я любил так, что где-то в глубине души таил мысль: вот бы он женился на моей сестре Нюре — ведь она такая красивая!

И как же Каргунов был несправедлив ко мне однажды! Вошёл, помню, он в класс с нашими сочинениями и почему-то задержал взгляд на мне. Он сказал, что на «отлично» написаны два сочинения, в том числе моё. Но добавил, что хотя и поставил мне «отлично», уверен — сочинение написал кто-то другой. И сколько я ни бил себя кулаком в грудь, сколько ни убеждал, что написал сам, он мне так и не поверил.

А сочинение было задано по картине Маковского «На побывку к сыну». Там изображён босой мальчик в рабочем переднике. Он, прислонясь к бочке в сенях, ест булку, а женщина сидит и печально смотрит на него. Я тогда представил себя на месте мальчика, а женщину — своей мамой, да так близко принял это к сердцу, что писал со слезами, будто бы меня отдали в ученики к злему портному, у которого была привычка больно драть за волосы, особенно

за маленькую косичку в ямке на шее. Как мать собиралась навестить меня и всю ночь думала, где достать муки. Она поднялась с постели и тщательно подмела мучной ларь заячьей лапкой. С трудом наскребла две горстки муки; при свете горящей лучинки, зажатой в зубах, просеяла её и испекла мне булку. Как она чуть не бегом бежала по лесу, где водились волки и медведи, от страха оглядывалась и читала молитву «Живый в помощи»... Примерно в таком роде было сочинение.

Шёл я на свой хутор после уроков и ревел всю дорогу: обидно было.

Переезд

К 36—37-му году на хуторе стало тише. Сестра Александра жила в Москве. В Берендееве работали Елизавета, Анна, Леонид, Евдокия; да и отец продолжал там сторожить склад. Все они ютились по разным углам и домой приходили на выходной день. Тогда наш дом снова оживал и наполнялся родными голосами. Наперебой делились новостями.

В один из выходных наша семья собралась и приняла решение переселиться с ненавистного всем хутора в посёлок Берендеево и перевезти туда дом. Вскоре дом разобрали, и отец на лошадке Борчике, не торопясь, по брёвнышку перевёз его на новое место.

Теперь наш дом из лесного одиночества вышел на люди, получив номер двенадцать по Советской улице. Здесь мы стали взрослыми, отсюда меня и братьев, Леонида и Николая, призвали в армию. Тут родились наши дети и даже внуки. Неподалёку на кладбище обрели вечный покой отец и мать...

Поездка на родину

Много времени прошло с тех пор, как отец посадил нас, семерых детей, на телегу и увёз на хутор из села Самарова, взбудораженного коллективизацией. Все мы давно стали взрослыми, даже состарились — а родные места вспоминаются с нежной грустью. Встают перед глазами зелёный луг за околицей, дубовый лес в утренней дымке. Старые берёзы на Большой дороге, пошевеливая косами, точно идут куда-то, сначала редкими шагами, а потом зачастили, заторопились вдаль от Самарова.

Давно я собирался побывать на родине. И вот ранней весной 84-го года наконец поехал. За окнами вагона проплывали селения, мелькали деревья и кустарники, пронеслись телеграфные столбы. Думалось о скоротечности нашей жизни, о далёком, далёком детстве в родном селе.

Приехал я в Берендеево к брату, переночевал, а утром отправился в неблизкий путь.

...Вот деревня Вёска. Здесь мы с братом были до войны, в солнечный летний праздник. Девчата, взявшись за руки, шли по улице и пели «Страданье». Парни позади них пылили табуном и клялись под гармонию: «Мы отчаянны робята, мы отчаянны умрём. Кто девчат наших полюбит, всё равно их отобьём!» Пригнали скотину. Большое шумное стадо двигалось вдоль деревни, а впереди выступала рыжая корова, предвещающая на завтра ведро. Девушки и парни побежали загонять скот по домам.

Теперь же, войдя в деревню, я с трудом узнал её. Кроме нескольких хилых домишек, как случайных колосков на сжатом поле, ничего тут не осталось. Возле одного дома копошилась старушка. Она рассказала, что их здесь всего пять пожилых женщин. Ночевать собираются вместе и на всякий случай держат при себе ружьё.

Попрошавшись с ней, я пошёл в сторону Скоблева, а вдогонку мне лаяла бабушкина собачонка, приютившаяся в поваленной бочке.

Как-то внезапно из-за деревьев показалась скоблевская церковь — в неё нас водил с хутора отец. Церковь гнула. Крыша в средней её части провалилась. Ограду растащили по кирпичику, а на куполах с обнажёнными рёбрами выросли берёзки. Ходили слухи, что помещик, сбежавший за границу, спрятал в церкви фамильные сокровища. Многочисленные искатели кладов продолбили фундамент в разных местах, и через зияющие отверстия был виден сводчатый подвал.

Село Скоблево предстало мне мрачным, как будто вросшим в землю, с большими пустотами между домами, словно щербинами во рту без зубов.

Прошёл я через Родионцево и Лаврово.

Родионцево славилось садами и пасаками. Во время обильного медосбора один щедрый пчеловод выставлял посреди села кадку с мёдом, который могли есть все желающие. Говорили, что за доброту пчёлы у него ещё больше старались.

Теперь в Родионцеве разбросано всего с десяток домов, а Лаврово производит особенно жуткое впечатление — от большого села сохранился один-единственный дом. Возле разрушенной до основания церкви торчат покосившиеся кресты, на кладбище вырыта глубокая яма. Я стоял на её краю и гадал: кому здесь понадобилось выкопать этот котлован, для чего?

Только я углубился в лес за Лавровом, на тропу из кустов вдруг вышел парень с длинным ножом «кишкодралом» в руке. Я невольно вздрогнул, но оказалось, что он просто заблудился, а ножом сдирал корьё в лесу. Он-то и поведал мне, что яма на лавровском кладбище образовалась на месте ушедшей под землю часовни.

Иду дальше. Впереди высокая горюшка деревни Коблуково. В уютной когда-то деревеньке из двадцати домов жили сплошь мастеровые люди. Коблуковские «пискуны» снабжали всю округу и переславский рынок санями и колёсами. Пискунами их называли за манеру разговаривать тоненьким голоском. Здесь каждый мужчина, даже самый басовитый, как-то ухитрялся менять голос и говорить пискляво — уж так было заведено... Сейчас и от этой деревни остались лишь глубокие подполья бывших строений; да ещё одинокие скворешни, кусты расцветающей сирени, и тишина, тишина. Не хотелось верить, что люди ушли навсегда отсюда. Я поднялся на крутую коблуковскую горку. Во все стороны простирались сизые холмистые дали с перелесками. В небе парил коршун. Какая же красота кругом! Да, сумели же выбрать себе такое место коблуковцы.

Дальше мой путь проходил по сырому мрачному лесу с Овсяниковым оврагом, где издавна были волчьи логовища. Миновав лес, вышел на самаровское поле под названием Сизовицы. Помнится, здесь, в сизом болотце, гнездились пигалицы. Они пикировали на нас, надрывно пищали: пить, пить! Пигалицы кружили надо мной и сейчас и так же просили пить. Они были в тех же белых одёжках с чёрными колпачками, жили в том же болотце, — ничего не изменилось у пигалиц с тех пор...

Поднявшись на пригорок, я остановился, и на меня издали вдруг глянуло что-то родное-родное! Я увидел самаровскую церковь — этот знакомый с детства маяк, звавший домой, с какой бы стороны мы ни выходили из окружающих Самарово лесов. Мне казалось тогда, что летняя приземистая церковочка с узенькими полукруглыми оконцами на куполе, с их ласковым прищуром — это моя мать, а колокольня — отец и что они стоят, взявшись за руки, и наблюдают за мной; я, казалось, слышал ласковый голос матери: «Набегался, чай, пострелёнок, темнеет, спать пора, а то ворона на гнездо утащит!»

с. 16

Теперь от самаровской церкви осталась только половина, её летняя часть. Как вдова, стоит она в одиночестве — повалили колокольню с помощью современной техники.

Казалось бы, ну за что мне так любить это убогое сельцо, в котором прошло моё безрадостное детство? Что мне в нём? Так нет, увидав его разрушенным, я зарыдал, без стеснения, благо рядом никого не было. Я плакал, как на похоронах дорогого и любимого человека. Да в конце концов это и были для меня похороны родного села. Думается, будь целёхоньким это село, я бы никогда и не понял, что оно мне так дорого.

У бывшей околицы Самарова я присел отдохнуть на ствол упавшей вётлы. Бесшумным сторожем стояла она у въезда в деревню. Издалека махала ветла путникам своими густыми ветвями, точно большими рукавицами, звала их к домашнему очагу. Не стало дерева; а необъяснимая стихия разрушила жилища людей, и остались от домов битые кирпичи, бугры завалинок да покосившиеся дубовые столбы. Стоят они одинокими стариками у обжитых мест, в зарослях дремучей крапивы — вечной спутницы всяческих разрушений на земле.

Поднялся я с вётлы и пошёл к церкви и кладбищу, к могиле деда Аввакума, будто с повинной. С трудом отыскал, поклонился. Стоя тут, на самом высоком месте Самарова, с тяжёлым чувством смотрел я на брошенное село...

Кое-где уцелели дома с пустыми глазницами окон. От других остались груды развалин. Повсюду разбросаны ушаты, лохани, тряпье. Знакомые с детства плакучие ивы у обмелевшего пруда одряхлели, небрежно распахнули гнилые дулла, ещё ниже склонились к воде. И — чудо! На другой стороне пруда, на своём прежнем месте сохранился наш родной дом! Он стоял с провалившейся крышей, но всё тот же, с узеньким сквозным окошечком на фронтоне, где многие поколения ласточек лепили гнёзда и выводили птенцов. Лишился соломенной кровли, как старик волос, этот родительский дом, построенный ещё Аввакумом.

С большим волнением приближался я к нашему дому, всё отчетливее узнавались его незабываемые подробности, запавшие в душу с детских лет. Казалось, что за плотинкой, на пригорке встречал меня давно ожидавший и донельзя состарившийся любимый родственник. Подошёл я к дому, заглянул внутрь через выбитое окно, и оттуда прямо-таки пахнуло детством!..

У стены стояла та же лавка «коник», тут обычно сидела наша мать, пряла и укачивала в зыбке ребёнка, просунув ногу в верёвочную петлю. На матице ещё было цело железное кольцо, через него просовывали гнущийся поцеп зыбки. В углу у двери прежде стоял оконный, со звоном в личине сундук, на застеленной крышке которого постоянно сидела или лежала бабушка Прасковья.

В этой никому не нужной, но до слёз дорогой мне развалине всё было знакомо и мило, всё будило воспоминания: каждая половица, каждая матица, каждая тараканья щель...

Я смотрел по сторонам в надежде встретить кого-нибудь из сельчан, но вокруг ни души. Стояла мёртвая тишина, которую не нарушали даже птицы. Не было видно ни воробьёв, ни галок, ни ворон. Оказывается, они не могут жить без людей.

На глаза попался знакомый пень перед домом, и я вспомнил огромный тополь, под которым мы любили играть. Как-то вернулся отец с пашни, устало вошёл в избу, а бабушка к нему: «Иван, спилю тополь, он мне солнышко загораживает!» Просила она и раньше спилить могучее дерево, но мы так дружно вставали в его защиту, что у отца руки не поднимались. На этот раз бабушка всё же доконала его: «Ладно, завтра спилю». И утром вышел с пилой и топором, долго рубил, пилил живое тело тополя, а тот вздрагивал кудрями при каждом ударе, потом стал крениться, крениться и с жалобным стоном упал на землю. Лежал наш красавец с поломанными сучьями, а испуганные птицы, как при пожаре, с отчаянным криком кружили в воздухе над разорёнными гнёздами.

По всему селу я прошёл, с трудом угадывая, кто где жил.

Вот тут был дом Ивана Макарова — высоченного мужчины с качающейся походкой. Он ходил очень крупными и медленными шагами, будто отмеряя дорогу. Кто-нибудь глянет в окно и скажет: «Вон землемер пошёл».

А здесь жил Григорий Шаныгин, нелюдим. Григория убило тележным куrom, когда его молодая лошадь испугалась и понесла с крутой горы. У Григория была одноглазая жена. В праздники он любил петь: «Кормил, поил милую, всё прочил для себя». А кто-то из парней заглянул в открытое окно и пропел: «Кормил, поил милую, а выкормил кривую!»

Подошёл я к завалившемуся пятистенному дому кулака Зиновьева, сосланного в Сибирь. В этом доме была наша школа. Никогда не забудется, как техничка тётя Марфа варила нам картошку в русской печи тут же во время уроков. На большой перемене мы доставали из парт миски и выстраивались в очередь за мятой картошкой, приправленной растительным маслом. Это были бесплатные школьные обеды.

Здесь жили Савельевы, имевшие худую славу за то, что их Анка родила в девках. Парни пели частушку под её окном: «У Савельева двора птичка гнёздышко свила. Для чего она свила? Чтоб Анюха родила!» Отец у Анки был настоящий богатырь с пшеничными усами и громовым голосом. Однажды он гаркнул жене с покоса, находившегося далеко за селом: «Оксинья, ставь самовар!» Дом их стоял на горке, и все косари видели, как Оксинья побежала с вёдрами к колодцу.

Я ходил среди развалин и с горечью думал: исчезнет с лица земли родное село, и мои внуки не будут знать, откуда потянулась ниточка нашей фамилии. Разрушат до основания церковь, перепашут пепелища. Повалят дубовый крест на могиле Аввакума. Зашелестит над ней спелая пшеница, а о чём станут шептаться колосья? Не понять счастливым потомкам...

Направляясь в обратный путь, я опять подошёл к холмику Аввакума, неожиданно для себя опустился на колени и, чего давно со мной не случалось, перекрестился и дал клятву праху деда — оставить память о Самарове его правнукам, попытаться написать обо всём, что запомнилось с детства о жизни исчезнувшего родного села...